

М. А. ШОЛОХОВ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш78

Серия «Эксклюзив: Русская классика»
Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фerez*
Художник *А. Гайворонская*
Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Шолохов, Михаил Александрович.
Ш78 Они сражались за Родину / Михаил Александрович Шолохов. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 352 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-162629-7

Работу над романом «Они сражались за Родину» Михаил Шолохов начал еще в 1942 году и с перерывами продолжал до 1969 года. Незадолго до смерти писатель сжег рукопись, и от романа сохранились лишь отдельные главы. Но даже в неполном виде роман «Они сражались за Родину» оказывает невероятное впечатление на читателя, ведь Шолохов с поразительной достоверностью показывает обстановку в рядах Красной Армии в первые годы войны, мысли простых солдат, тяжело переживающих отступление, и как вчерашние мирные граждане постепенно превращались в закаленных бойцов, готовых защищать родной дом любой ценой.

В данное издание также вошли рассказ «Наука ненависти» и публицистика военных и послевоенных лет.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-162629-7

© М.А. Шолохов, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Они сражались за Родину

(Главы из романа)

На синем, ослепительно-синем небе — пылающее огнем июльское солнце да редкие, раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам — словно вымершая от зноя степь: устало полегшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика.

Николай шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. Сто семнадцать бойцов и командиров — остатки жестоко потрепанного в последних боях полка — шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Так же, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир второго батальона капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком, так же покачивалось на широком плече сержанта Любченко древно за-

вернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр второго эшелона, и все так же, не отставая, шли в рядах легко раненные бойцы в грязных от пыли повязках.

Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой.

Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые пять дней! Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез... «Развинтился я, совсем раскис... А все это жара и усталость делают», — думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага.

Теперь он шел не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы, грохочущую лавину немецких танков, и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих

бойцов соседнего батальона... А потом — бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью...

Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковые атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, а не устояли...» — с горечью подумал Николай, вспоминая.

На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи, между строгими рядами их стелющуюся по рыхлой земле повитель, убитого пулеметчика... Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому, что в колхозе не хватило рабочих рук; что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны, заросший сорняками подсолнух; и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень, иначе почему же солдатская смерть смиловилась, не изуродовала его, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и, словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха? А потом Николай подумал, что все это — чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком это просто дело случая: тряхнуло взрывной волной — и посыпался вокруг, мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся

его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно, оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами...

Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекавших ногах.

Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну.

На склоне высоты ветер вылизал дорогу, начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко зазвучали на оголенной почве до этого почти неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор — с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, — и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой.

Молча шагавшие бойцы оживились. Послышались голоса:

— Должен бы привал тут быть.

— Ну, а как же иначе, отмахали с утра километров тридцать.

Сзади Николая кто-то звучно почмокал губами, сказал скрипучим голосом:

— Родниковой, ледяной водицы по полведра бы на брата...

Миновав неподвижно распростершую крылья ветрянную мельницу, вошли в хутор. Рыжие, пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву возле плетней, где-то надсадно кудахтала курица, за палисадниками сонно склоняли головки ярко-красные мальвы, чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким покоем и миром пахнуло вдруг на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь, что эта знакомая и когда-то давным-давно виденная картинка мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж, в знойном воздухе.

На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие, тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пылью сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий и грустный аромат доцветающей лебеды.

Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Во дворах, впритирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата, по улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски, в саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью, на отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая

ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными недоспелыми антоновками.

Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул:

— А ведь это наша кухня, Микола! Подыми нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней, какого же тебе еще хрена надо?

Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал:

— Вот так ты и письма от сына читаешь: прочтешь немного, оторвешься — и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь.

Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крикнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал:

— Вода-то не очень хороша, только в ней и доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?

Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил:

— Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой?

И неожиданно для самого себя Николай ответил:

— Нет у меня жены. Разошлись.
— Давно?
— В прошлом году.
— Вот как, — сожалеюще протянул Звягинцев. — А дети с кем же? У тебя их, никак, двое?
— Двое. Они с моей матерью живут.
— Ты бросил жену, Микола?
— Нет, она меня... Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет, ушла. Оставила записку и ушла...

Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого слышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний?

Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы:

— Что же она, стерва, другого сыскала?

— Не знаю, — сухо ответил Николай.

— Значит, нашла! — убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой. — Ведь вот какой народ, эти бабы! Парень ты из себя видный, получал, конечно, хорошее жалованье, какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала?

Взглянув внимательнее на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим

простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже два месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду, захотелось его утешить и рассказать о себе, и он присел рядом, заговорил:

— А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное — дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас — главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь, война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно, — самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушное животное женщина, я, брат, их знаю! Видишь рубец у меня на верхней губе? Тоже прошлого года случай. На Первое мая я и другие мои товарищи комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил, и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика: если зарядит что — не кончит, пока все обоймы не порасстреляет, и тоже норовит нахрапом брать.

Была на этой вечеринке одна барышня, очень она хорошо «цыганочку» танцевала. Смотрю я на нее, люблюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет, а жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!» Вот, думаю, новое дело, что же мне на вечере зажмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу, с вывертом, до глубокой боли. «Не

смотри!» Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у нее, как у кошки: круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: «Через тебя, чертовка, придется незаслуженно терпеть! Ты ногами вертела, а мне расплачиваться». И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху — в меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня была тогда толстая. Не поверишь, тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы — кровь, как при серьезном ранении.

Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я не взвидел! Встаю и пускаю ее, жену то есть, по матушке. «Что же ты, — говорю, — зверская женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт! Я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы». «Так-то, — говорю, — вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность? Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться, имейте это в виду, и дома мы с вами поговорим по душам».

Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить

из компании. Встали мы, попросились, извинились перед хозяевами, всё как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорогой шла она, проклятая, как живая, а только порог переступила — и хлоп в обморок. Лежит и не дышит, а морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелкой: нет-нет да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани, как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил, она и отошла, крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает.

«Ты, — говорит, — такой-сякой, новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается! Изменник! На всякую девку глаза лупишь! Жить не могу с тобой, с извергом!» — и все такое прочее. Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит — оживела, значит перезимуешь, милая!

Присел к столу, курю, гляжу: любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: «Ухожу от тебя. У сестры жить буду». Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя, потому и согласился. «Иди, — говорю, — там тебе лучше будет». «Ах, вот как! — говорит. — Такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня? Так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила!»

Оживленный воспоминаниями, Звягинцев достал кiset и, улыбаясь, покачивая головой, стал

сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался, но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева, да и сил не было, чтобы подняться и идти по солнцепеку. Закурив, Звягинцев продолжал:

— Подумал я и говорю: «Что ж, Настасья Филипповна, вешайся, веревка за сундуком лежит». Кинула она свой узел, схватила веревку и — в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: «Ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я!» Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками: «Так ты рад бы был, если б я повесилась?! Такой-то ты любящий муж?!» Насилу ее утихомирил. Хмель с меня как рукой сняло, даром что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю: люди в народный дом пошли спектакль смотреть, а у меня дома — свое представление, бесплатное. И смех меня разбирает, к на душе как-то невесело.

Вот на какие шутки женщины — это чертово семя — способны! Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было: забрала их к себе родительница моя погостить, а то ведь могли их перепугать до смерти.

Звягинцев помолчал и заговорил снова, но уже без прежнего воодушевления:

— Не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Вот только последние два года испортилась она у меня. А испортилась она, прямо скажу, через художественную литературу.

Восемь лет жили как люди, работала она прицепщиком на тракторе, ни в обмороки не падала, никаких фокусов не устраивала, а потом повадилась читать разные художественные книжки, с этого и началось. Такой мудрости набралась, что слова попросту не скажет, а всё с закавыкой, и так эти книжки ее завлекли, что ночи напролет читает, а днем ходит, как овца круженная, и все вздыхает, и из рук у нее все валится. Вот так раз как-то вздыхала-вздыхала, а потом подходит ко мне с ужимкой и говорит: «Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви объяснился. Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов, как в художественной литературе пишут». Меня даже зло взяло. «Дочиталась!» — думаю, а ей говорю: «Ополоумела ты, Настасья! Десять лет живем с тобой, трех детей нажили, с какого же это пятерика я должен тебе теперь в любви объясняться? Да у меня и язык не повернется на такое дело! Я смолоду никому в нежных словах не объяснялся, а все больше руками действовал, а сейчас и вовсе не стану, не такой уж я дурак, как ты думаешь! И ты бы, — говорю ей, — вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми лучше присматривала». А дети и на самом деле пришли в запустение, бегают, как беспризорники, грязные, сопливые, да и в хозяйстве все идет через пень-колоду.

Подумай, Микола, разве это дело? Я, конечно, не против культурных развлечений и сам люблю почитать хорошую книжку, в какой про технику, про моторы написано. Были у меня разные интересные книжки: и уход за трактором, и книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизеля на стационаре, не говоря уже про литературу о комбайнах. Сколько раз, бывало, просил: «Возьми, Настасья, прочитай про трактор. Очень завлекательная книжка, с рисунками, с чертежами. Тебе надо это знать, ты же прицепщиком работаешь». Думаешь, читала она? Черта с два! Она от моих книжек воротила нос, как черт от ладана, ей художественную литературу подавай, да такую, чтобы оттуда любовь лезла, как опара из горшка. И ругал и добром просил — не помогло. А бить ее — в жизни не бил, потому что я, до того как на комбайнера выучился, шесть лет молотобойцем работал, и рука у меня стала невыносимо тяжелая.

Вот так, братец ты мой, семейная жизненка и шла у нас раскорякой до той поры, как меня в армию не призвали. А ты думаешь, сейчас, в разлуке, мне легче? Как бы не так! Скажу тебе откровенно и по секрету, никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, хоть слезами плачь! Ты сам, Микола, знаешь, каждому из нас тут, на фронте, приятно получить письмо из дому, читают их один одному вслух, вот и ты мне письма от сынишки прочитывал, а я жениного письма никому почитать не могу, потому что мне стыдно. Еще когда под Харьковом были, получил от нее раз за разом три письма, и каждое письмо начинается так: «Дорогой мой цыпа!» Прочитаю —